

Владимир СПЕКТОР

## ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ...

Не только мужество и решительность  
могут подвигнуть на большие дела, но  
и просто лень...

*Дж. Рескин*

И в самом деле, все могло быть хуже, — мы живы, невзирая на эпоху.  
И даже голубь, словно ангел, кружит, как будто подтверждая: «Все — неплохо».  
Хотя судьба ведет свой счет потерям, где голубь предстает воздушным змеем...  
В то, что могло быть хуже — твердо верю. А в лучшее мне верится труднее.

Конечно, все могло быть хуже. Жизнь приучает к здоровому пессимизму, и любое достижение, даже самое маленькое, становится возможным только преодолением мыслимых и немыслимых трудностей, плюс еще и собственных недостатков — лени, нерешительности, глупости, да мало ли еще каких... Но зато и очередное поражение (не глобальное, конечно, а в личных устремлениях, судьбе, карьере) воспринимается не как трагедия, а как закономерный результат, изменить который можно только дополнительным трудом, терпением, упрямством, в хорошем смысле этого слова. «Невзирая ни на что» — этот девиз стал для меня (и для многих, кому довелось жить и выживать в данное время в данном месте) путеводным и определяющим. А это значит — не ждать помощи и поддержки ни от кого, а надеяться только на себя. Ну, а когда помощь все же приходила и приходит, это — дополнительный праздник. Очень люблю и ценю друзей, которых мало, уважаю приятелей и знакомых (их много), традиционно побаиваюсь врагов (их, как выяснилось, тоже много, но, к сожалению, знаю их мало). Благодарен родителям, которые дали все, что могли и считали нужным и полезным. И, конечно, дедушке, который очень любил меня, и я это ощущал постоянно. Вплоть до школы я каждый день, за исключением выходных, был на его попечении.

Мой дед здороваться любил и вслух читать газеты.  
Читал, покуда было сил, про жизнь на белом свете.  
С машиной швейной был в ладу и с нашей старой печкой.  
А вот в пятнадцатом году — стрелял под Берестечком.  
«Прицел такой-то... Трубка... Пли!..» — рассказывал он внукам.  
В работу верил. Не в рубли. И уважал науку.  
Моим пятеркам был он рад. Предсказывал победы.  
Хотел, чтоб был я дипломат... А я похож на деда.

---

Владимир Спектор родился в Луганске. Редактор литературного альманаха и сайта «Свой вариант». Автор более двадцати книг стихотворений и очерковой прозы, изданных в Донецке, Луганске, Киеве, Москве. Заслуженный работник культуры Украины. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе имени Юрия Долгорукого, имени Арсения Тарковского, имени Сергея Михалкова. Публиковался в журналах «Слово/Word», «Новый континент», «Новый берег», «Радуга», «Сетевая словесность», «Дети Ра», «Связь времен», «Зарубежные задворки», «Этажи», «Берега», «Чайка», «Золотое руно», «Камертон», «Литературная Канада», «Особняк», «Интер-Фокус», «Новый Гильгамеш», «Клаузура» и других. С 2015 года живет в Германии.

В детском садике я не прижился, а бабушка, к сожалению, ушла из жизни очень рано, когда мне было чуть больше трех лет. В садик я ходил два дня, принес оттуда чудные, на тогдшний мой взгляд, строки «Из Москвы пришла программа какать больше килограмма. Кто наложит целый пуд, тому премию дадут», а также «Обезьяна Чичи-чи продавала кирпичи, за веревочку дергнула и немножечко...». И еще несколько подобных шедевров (которые запомнились мгновенно и на всю жизнь). С гордостью вечером я их исполнил перед ошалевшей от моих талантов родительской аудиторией. Помню, папа сказал: «Хорошая память у ребенка». Больше я в детское дошкольное учреждение не ходил. Полностью оценил, каким добрым и заботливым был дедушка, только став взрослым. И мне стыдно, что я не сказал ему «спасибо», не поцеловал, не обнял лишний раз. Действительно, дети жестоки. Между прочим, у дедушки с бабушкой была история, достойная любовно-приключенческого романа в стиле Дины Рубиной. Он — красавец здоровяк из бедной семьи, играючи жонглировавший двухпудовыми гирями. Работал конюхом, как говорил сам — был при лошадях, и подрабатывал грузчиком (здоровье позволяло, с мешками управлялся не хуже, чем с гирями). Такой себе местечковый биндюжник (дело происходило в Знаменке Черкасской губернии) с могучими кулаками и доброй душой. По воскресеньям вместе с местной шпаной прогуливался туда и обратно вдоль магазинчиков и питейных лавок, имея интерес на мир посмотреть и себя показать. Однажды на спор съел более двух десятков пирожных, получив в качестве приза еще два десятка. В общем, видный парень с неоспоримыми достоинствами. Кстати, одно из них, по его рассказам — умение приподнять лошадь, а когда надо — и телегу. Как он познакомился с дочерью зажиточного торговца Соней, мне неизвестно. Он не рассказывал, а я спросить не догадался. Но — познакомились.

И, видимо, пришлись друг другу по душе. Такое бывает. Симпатия переросла в любовь, что совсем не понравилось семейству Сони. Тут грянула Первая мировая война, и Борис отбыл на фронт, где служил справным артиллеристом, участвовал в боях (особенно запомнилось ему сражение под местечком Берестечко, о котором часто рассказывал). Вернулся домой уже после революции. Война... Погромы... Сонины родня решила ехать в Америку (сегодня понятно, что решение было мудрое). А Соня сказала: «Я люблю Борю и останусь с ним». Это — Поступок, и это — большая любовь. Все так и вышло. Семья уехала. До середины 30-х годов редкие письма еще доходили из Филадельфии, где обосновались ставшие очень дальними близкие родственники. А потом связь прекратилась. И так и не возобновилась. В 60-е годы мама пыталась найти следы не виданных ею американских дядюшек и тетюшек, но время смыло их, как все на свете. Семейное предание гласило, что в одном из довоенных писем оказались доллары. Немного, но все-таки... Преданный делу партии беспартийный дед благоразумно решил, что самое спокойное — утопить зеленые бумажки в уборной. Что и было сделано под недоуменными взглядами не столь стойких и идеологически выдержанных родственников. Дед, между прочим, еще успел послужить конюхом в красной кавалерии, а потом с молодой женой поехал искать счастье на Донбасс и нашел его в Луганске, где работал сначала в конном хозяйстве, а потом в производственной артели, везде получая за доблестный труд почетные грамоты. Он ими чрезвычайно гордился. И везде отмечали его честность, простодушие и доброту. Главным богатством семьи были, как водится, дети. Два сына-погодка Давид и Иосиф и младшая дочь Женя. Сыновья так же, как их отец в прошлую войну, ушли на фронт в 1941-м. И не вернулись. Потому, наверное, так рано покинула этот неласковый мир красавица Соня, ставшая моей бабушкой. Дед после ее смерти больше не женился.

Дед шил шапки и пел песни. А я сидел на столе и ел картошку.  
Пахло кожей и теплым мехом. А на стене висела карта мира.

И два портрета висели рядом. А на них — два моих дяди,  
 Одеты в солдатскую форму, чему-то задорно смеялись...  
 Давно дед сшил последнюю шапку. Давно дед спел последнюю песню.  
 А со своих портретов смеются геройски дяди... Смеются из моего детства.

Из-под снега выглянет асфальт — как лицо из-под белил.  
 Главного еще я не сказал. Хоть и много вроде говорил.  
 Все старо, как прошлогодний снег. Да и нынешний уже не нов.  
 Хоть и близким кажется успех — дотянуться не хватает слов.  
 Поищу их в письмах фронтовых. Там про снег и про войну.  
 В лица дядей вечно молодых сквозь их строки загляну.  
 Снег в тех письмах — вечно молодой, лучшие слова — одни на всех.  
 Время между мною и войной — утрамбовано, как снег.

О шапках я написал не просто так. Выйдя на пенсию, дед увлекся изготовлением шапок и фуражек (можно, наверное, сказать, что это было своеобразное хобби, которым он занимался основательно и с удовольствием). У него были самодельные лекала для всех размеров головных уборов, и среди соседей и знакомых он обрел уважаемый статус шапочных дел мастера, (что в эпоху дефицита ценилось, как все материальное). Причем денег за работу принципиально не брал. Но благодарности в виде конфет или другого «продукта» принимал. Дедушка был не очень грамотный человек, писал с чудовищными ошибками, да и читал с трудом. Но у него была хорошая память, он запоминал прочитанное, а поскольку чтение детских книг в его исполнении было главным и любимым развлечением моего раннего детства, то уже повторное прослушивание народных сказок (причем были две книги — на русском и на украинском языках), стихотворений Барто, Маршака, Чуковского и Михалкова, а также «Приключений Незнайки» Носова (красиво оформленной книжки на украинском языке) шло без запинок, да еще и с житейскими комментариями. Может быть, из-за этих книг, а может, все как-то предопределено Богом, но с детства мне хотелось стать не военным, не космонавтом (ох, как это было модно в 60-е), не геологом, а писателем или (как уступка реальности) журналистом. В роду писателей не было, хотя дядя, родной брат мамы, после окончания школы сочинил целую повесть под названием «Одноклассники» и послал ее для оценки Борису Горбатову.

Но все оценки отменила война, похоронившая и дядю, который после окончания педагогического техникума пошел на фронт, и его повесть. А еще один мамин брат окончил военное училище и сгинул в Брестской крепости. Мама писала Сергею Смирнову, просила помочь найти хотя бы упоминание о брате. «Пропал без вести» — это все, что нашлось. Увы, война напомнила о себе спустя почти 70 лет после ее окончания. Напомнила здесь, в Луганске. Из двух областей сделали гетто, наподобие тех, куда фашисты загоняли евреев. Теперь здесь широкое представительство национальностей, но обзывают всех одинаково: «вата», «колорады», «сепары»... Откуда столько ненависти, злорадства? Как быстро все забывается... Гетто, блокада, война... С кем? Людям моего поколения (о тех, кто старше, и речи нет) это не то что понять трудно — представить невозможно. Но вот выросла не желающая знать историю агрессивная молодежь, для которой «нация превыше всего», а убить — все равно что «дернуть за веревочку». В середине 50-х годов, когда еще так свежи были воспоминания о кошмарах войны с не доморощенными, а иноземными фашистами, даже самые матерые фантасты не могли до такого додуматься...

Запах «Красной Москвы» — середина двадцатого века.  
 Время — «после войны». Время движется только вперед.

На углу возле рынка — с веселым баяном калека.  
Он танцует без ног, он без голоса песни поет...  
Это — в памяти все у меня, у всего поколения.  
Мы друг друга в толпе мимоходом легко узнаем.  
По глазам, в коих время мелькает незваную тенью,  
И по запаху «Красной Москвы» в подсознание своем...

Помню «Красную Москву», коробочку с кисточкой, запах, бывший тогда атрибутом похода в гости или на какое-то торжество. Ставший для меня (наверное, не только для меня) своеобразным символом эпохи. И дело не только в аромате, но и в названии. Но все же запах книг был мне милей. Вот как я ответил на вопрос областной библиотеки о том, что было определяющим для меня в годы детства.

#### ОТРАДА МОЕГО ДЕТСТВА

Чтение стало моим любимым занятием, наверное, с рождения. Первые воспоминания детства: я сижу рядом с бабушкой, и он читает мне сказки, причем и на русском, и на украинском языке. Очень хороший был сборник сказок народов мира на украинском языке, уже тогда весь потрепанный и затертый до дыр. И рядом со сказками, конечно, стихи Маршака и Барто, Михалкова и Чуковского, Благиной... А еще была чудесная книжка «Стихи и сказки Пушкина» — оттуда сразу запомнилось «У лукоморья дуб зеленый». Сразу и на всю жизнь. А потом я и сам научился читать довольно рано и уже никаких других занятий и развлечений не искал. Среди первых прочитанных книг — «Приключения Карика и Вали» Я. Ларри, «Борьба за огонь», Ж. Рони «Приключения Буратино», А. Толстого «Приключения Незнайки» (на украинском языке) Н. Носова, «Старик Хоттабыч» Л. Лагина, «Кондуит и Швамбрания» Л. Кассиля, «Когда я была маленькой» В. Инбер, «Саша и Шура» А. Алексина... Лет в шесть начал читать «взрослые» книги из тех, что стояли у родителей в книжном шкафу. Вспоминаю «Флаги на башнях» Макаренко, «Старую крепость» Беляева, «Белеет парус одинокий» и «Сын полка» Катаева, «Таинственный остров» Жюль Верна (перечитывал несколько раз с восторгом). Во втором классе в школьной библиотеке попросил «Молодую гвардию». Библиотекарь Зинаида Яковлевна сказала: «Тебе еще рано такие книги читать». На что я ответил: «Это для папы». Она с сомнением переспросила: «А что, папа разве не читал Фадеева?» — «Читал, конечно, — заверил я, — просто хочет еще раз перечитать». Вранье мое выяснилось очень быстро — библиотекарь поинтересовалась у моей мамы: как там, мол, супруг? Читает «Молодую гвардию»? Но наказан я не был, и книгу прочитал очень быстро. Впечатление от нее было огромное. Таким же осталось на всю жизнь. Примерно тогда же прочитал «Чапаева» и «Как закалялась сталь». Что бы сегодня ни говорили, это — хорошие книги. И полезные.

Потом пришел черед четырехтомника Аркадия Гайдара, шеститомника Льва Кассиля, собраний сочинений Джека Лондона, Николая Гоголя, Константина Паустовского. Вообще, мне тогда казалось, что плохих книг просто не бывает. Я читал за поем, одолевая подряд все книги из родительской библиотеки, потом — из районной. Было время, когда мне начали запрещать читать так много. И я читал поздним вечером под одеялом, включая фонарик (тогда только появились китайские, в виде цилиндриков). А еще вспоминаю, как на мой шестой день рождения бабушка с бабушкой подарили шикарный, толстый фолиант в кожаной обложке. Я с восторгом разорвал прозрачную оберточную бумагу и с ужасом и разочарованием увидел, что это — лишь имитация книги. На самом деле под книжной обложкой был очень оригинальный набор шоколадных конфет, привезенных из Риги. И я от обиды заплакал. И бабушка расстроилась тоже. Хорошо это или плохо, но чтение было беспорядочным. Не было магистральной линии — читать только классику или, наоборот, только современную литературу. Кому-то, наверное, покажется, что уж больно идео-

логизированным был выбор книг. Что сказать... Тогда мне так не казалось. Но если и присутствовал элемент идеологии, то в основе ее — любовь к Родине, понятия дружбы, порядочности. На мой взгляд, сегодня именно такой идеологии не хватает. Поскольку я был отличник, то после первых четырех классов в конце года вместе с похвальной грамотой получал в подарок книги. Это была хорошая традиция. Книги прочитывались с удвоенным вниманием — ну как же, награда! Кстати, они были интересными. Одна из них — «Ноль-один в первом тайме» польского писателя Адама Богдая (тоже о дружбе и еще о футболе) — надолго стала любимой. Вообще, читал все, что попадалось на глаза. Был счастлив, когда у своего товарища обнаружил целую подборку книг Дюма, Майна Рида. Был очарован «Тремя мушкетерами». В начале 60-х подписаться на собрания сочинений было нетрудно, и у нас дома постоянно появлялись новые подписки. Новиков-Прибой («Цусиму» перечитывал не один раз), Проспер Мериме, Стефан Цвейг, Александр Беляев, «Библиотека приключений»... Все это — из детства. Но особое место в те годы занимали «12 стульев» и «Золотой теленок» Ильфа и Петрова.. Их я одно время знал практически наизусть. Да и мои друзья щеголяли цитатами из этих книг. Конечно, нужно делать скидку на то, что во времена моего детства и юности не было столь широкого выбора развлечений. Две телевизионные программы, радио «Маяк» да магнитофоны размером с добрый чемодан — вот и все. Плюс кино и танцплощадка в саду имени Первого мая, где очередные звезды сезона заколачивались в танцпол с регулярным усердием. И потому чтение было вполне естественным времяпровождением. В какой-то степени заменяло нынешнюю твиттерно-фейсбучную имитацию бурной деятельности, прочие компьютерные развлечения, даже «Дом-2» и прослушивание мобильных рингтонов. Хотя я и сегодня чтение предпочитаю всему остальному. Правильный лозунг висит на входе в юношескую библиотеку: «Читать модно!» Потому что всегда модно быть умным, эрудированным, разбирающимся не только в сортах пива и семечек, но и во многих других, не менее интересных вещах. А без чтения это невозможно.

Мое дошкольное детство, как я уже писал, пришлось на середину 50-х и проистекало в семье, где скромный достаток обеспечивался мамой-участковым педиатром, папой-инженером на тепловозостроительном заводе и дедушкой, о пенсии которого лучше всего говорит емкая фраза «хорошая, но маленькая». Тем не менее главное ощущение тех лет — благополучие. Слово казенное, но смысл отражает. Может быть, экономика страны, выстоявшая в войне и получившая в ее процессе вынужденно мощное ускорение, продолжала, и перейдя на мирные рельсы, по инерции двигаться уверенно. Застойное отставание в компьютерных и генно-кибернетических технологиях было еще в будущем. А тогда «Советское — значит лучшее» было не пустыми словами, а просто отражением действительности. У ребенка ощущение мира, естественно, локальное: в границах квартиры, двора, в уровне игрушек и разных вкусовностей. Жили мы в половине частного дома, отопление было печным, туалет во дворе. Самой любимой комнатой была дедушкина спальня, в которой помню широкую кровать, заправленную, как он говорил, солдатским одеялом. На нем мы лежали, и он читал мне бесконечные сказки, и это было здорово! Радио работало постоянно, что было привычно и не раздражало.

По вечерам довольно часто транслировали радиоспектакли, в том числе оперы и оперетты, под рубрикой «Театр у микрофона». Оперы я пропускал, а спектакли, несмотря на малый возраст, слушал с удовольствием. Любили мы с дедушкой и ежедневные концерты по заявкам. С того времени, наверное, у меня стойкая любовь к мелодичным, задушевым, наивным, но добрым и оптимистичным песням советских лет. Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Марк Бернес, Владимир Трошин, Нина Дорда, Гелена Великанова, Леонид Кострица, Ружена Сикора, Карина и Рузанна Лисициан,

Владимир Нечаев и Владимир Бунчиков... — все они и многие другие из детства людей моего поколения, из времени, где «человек человеку — друг, товарищ и брат». Безусловно, вижу некое лицемерие и несоответствие суровым реалиям жизни во все времена этой прекрасной формулы. Но в том-то и дело, что она прекрасна, а в те годы хотя бы постоянно звучала из уст официальных деятелей и была начертана на многочисленных лозунгах. Сейчас-то — и этого нет. Летчик, считающий себя военным, сбрасывает полутонные бомбы на мирные дома соседней области бывшей общей страны, где живут женщины, старики, дети, и не заморачивается, кто там «друг, товарищ...». Деньги платят за каждый вылет, и немалые, вот и вся дружба вместе с любовью. И музыка в большинстве своем звучит, соответствующая духу времени — жесткая, с тяжелым, подавляющим ритмом, обходящимся без мелодии, как без пережитка прошлого. Но, слава богу, слушать ее никто не заставляет. И потому я — по-прежнему во власти своих любимых песен. Да и не я один.

О, эта музыка семидесятых. Пластинки, радио «Маяк».

Все то, что модно — лишь по блату. Все остальное — просто так.

«Веселые ребята», Лещенко, «Скальдовы», «Битлс», Джо Дассен...

За ритмом популярной песенки почти не слышен гул проблем.

Тухманов, «Пламя» с «Самоцветами», «Чикаго», «АББА», «Верасы».

С их музыкальными приветами еще идут мои часы.

Сегодня трудно представить, как мы обходились без айпадов, смартфонов, планшетов, ноутбуков. Ни компьютерных игр, ни развлекательных сайтов... Ближайший телефон-автомат, как сказано в классике, «через два квартала». Так и было. Телевизор «Рекорд» появился в нашей семье в 1957 году, и это было чудо. Небольшой черно-белый экран накрывали салфеткой, чтоб, не дай бог, не запылится. Продавались специальные накладки на экран из прозрачной разноцветной пленки. Внизу она была, по моему, зеленой, потом розовой и вверху голубой. Ощущения цветного кино не возникало, папа сказал, что похоже на сеанс в сумасшедшем доме, и больше пленку к экрану не крепили. Телевышку возводили буквально через дорогу от нашего тогдашнего дома. Популярность первых телеведущих, вернее, дикторов (ведущие появились потом) была просто бешеной. Как говорится, Голливуд отдыхает. Валечка, Зиночка (все называли их именно так) определяли моду и стиль для городских (и сельских) красавиц. Тогда и в моем мозгу родилась мечта — работать телевизионным диктором и читать зрителям не только новости, но и свои романы. Когда я поделился своей мечтой с папой, он с изумлением и раздражением ответил: «Брось болтать ерунду». Но в моей голове эта ерунда засела крепко. Интересно, что в мечтах о писательстве места поэзии не было вовсе, хотя детские стихи, в том числе и пушкинские, в памяти были в изобилии. Но это была, что называется, обязательная программа для домашнего употребления (как водится, рассказывал стихи благосклонно жующим гостям за праздничными застольями, на радость маме и папе). А в вольных фантазиях — сочинялись романы. В общем, рос мальчиком-фантастом. «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино...» Как раз при помощи вертолета соединяли верхние части конструкции вышки, и потом показывали кино по телевизору. Жизненная песня. Кинофильмы тогда в программе располагались, по моим меркам, поздним вечером, когда детское время кончалось, и родители беспощадно гнали меня спать. Запомнились названия пропущенных тогда фильмов: «Дело Румянцева», «Петерс», «Джюльбарс», «Убийство на улице Данте»... Все это звучало заманчиво и недостижимо, а запрет казался верхом несправедливости. Став взрослым, справедливость хоть в этом я восстановил и все посмотрел. Хорошее тогда кино снимали.

Телевизор с маленьким экраном и с зеленым глазом радиола —  
 Это нынче кажется все странным, а тогда — и модным, и веселым.  
 Слушали мелодии эстрады (где они, — лишь в памяти моей),  
 Эхо жизни, а не хит-парада, отголоски дней, людей, идей  
 Отзвучали и пропали в бездне. Новые мелодии в стране.  
 Обижаться просто бесполезно на струну, звенящую во мне.

Первый раз жизнь на большом экране я увидел в кинозале Дворца культуры имени Маяковского, куда пошел вместе с дедушкой. Для него поход в кино тоже был в радость. Я был потрясен. Цветной киножурнал о советских полярниках и фильм «Тайна двух океанов» покорили детское воображение. А «Карнавальная ночь» осталась в памяти какими-то торжественными сборами, приготовлениями. В кинотеатр «Октябрь» шли как на праздник. Сам фильм мне тогда мало запомнился, зато в фойе был фонтан, в котором плавали золотые рыбки, и еще эстрада. Там играл небольшой оркестр в белых пиджаках и пела певица. В буфете в громадных разноцветных конусах манили к себе соки, продавались плитки шоколада и любимые мною конфеты-пенечки. Это были маленькие сладкие шайбочки с красной боковой поверхностью и красными же цифрами или рисунками на белых основаниях. Позже эти конфеты куда-то исчезли. В принципе, как и многое другое вместе с кинотеатром. После 1991 года в его помещении одно время работала какая-то биржа. Это было модно. А потом лет двадцать здание пустовало. Фонтан в фойе искоренили вместе с эстрадой, а первым делом сломали скульптуры на крыше — там были изящные фигуры мальчика, запускающего модель самолета, и девушки, хоть и без весла, но тоже очень оптимистичной. Кому они мешали? Вместо них так ничего и не появилось. Долгое время вокруг одного из лучших когда-то кинотеатров страны, словно подчеркивая, что жизнь — это не кино, копошился мрачный стихийный «железный рынок» по продаже автозапчастей. Наконец его убрали, навели порядок на прилегающей площади, а в здании открыли супермаркет. Не театр, конечно, но и не грязный рынок Увы, необъявленная война, которую страна ведет против своего народа, закрыла магазин, в который раз напомнив, что жизнь — не кино, но в памяти, пока мы живы, все остается.

Инерция... И для души закон Ньютона применим.  
 Никак мне не расстаться с ним. Воспоминаний сила  
 Опять меня сдавила... Души моей потемки — потемки кинозала.  
 Замедленная съемка. Смотрю, и все мне мало.

В каком-то фильме понравилась фраза «элементы сладкой жизни». Услышав ее, подумал, что это — и о конфетах. Конфеты детства — это не только вкус натуральных продуктов плюс лишние килограммы (особенно если на ночь), но и реальные элементы счастья. Собираание фантиков было серьезным увлечением. Глянцевая бумага, яркие, красочные картинки... Под оберткой — серебристая фольга, промасленный пергамент, и, только развернув их, я ощущал пленительный запах настоящей шоколадной мечты. «Белочка», «А ну-ка отними», «Петушок», «Садко», «Мишка на севере», «Трюфели», «Красная Москва», а чуть позже — «Веселые человечки», «Каракум», «Ананас»... Это все — дорогие сорта. Были и подешевле, но такие же настоящие: «Маска», «Ромашка», «Наталка-Полтавка», «Осенние», «Степные», «Лимонные», «Школьные», «Коровка», «Батончики»... Несколько раз родители покупали «Клюкву в сахарной пудре», она продавалась в особых коробочках и имела необыкновенный аромат. Конфеты в коробках приобретались редко — это уже были элементы роскоши. Коробки

не выбрасывались, в них вместе с воспоминаниями о съеденных фигурных калориях хранились фантики, марки, письма, пуговицы... Короче, нужная в доме вещь. Какие-то сорта из детства сохранились и сегодня, но исчезло очарование праздничности и изысканности. То же самое можно сказать и о шоколадных плитках. «Сказки Пушкина», «Богатыри», «Гвардейский», «Театральный», «Ореховый», «Соевый» (как по мне — самый вкусный)... И рядом — «Аленка», «Чайка». В общем, сколько ни говори «шоколад», жизнь не становится слаще даже для тех, кто любит горькие сорта.

А в детстве были витамины радости, и это не казалось странным.  
Не потому, что не хватало сладости, была вся радость в имени — «бананы».  
Сегодня всюду — спелые и ранние, бананы в будний день и в воскресенье...  
И, значит, правда, радость ожидания намного слаще счастья обретения...

Бананы были настолько редкими гостями нашего обеденного стола, что и вспоминать практически нечего. А вот кусочек хлеба с насыпанным по его поверхности слоем сахарного песка и смоченным сверху водой был привычным лакомством. Попробуйте. Это, конечно, не заварное пирожное, но за неимением лучшего становится им. Более изысканный вариант — свежий белый батон, намазанный маслом и густо посыпанный сахаром. Лучше эклера. В памяти еще один деликатес для тех, кто не любит сладкого. Специально для меня дедушка поджаривал картофельное пюре до образования по всей поверхности сковороды румяной корочки, и это съедалось даже при отсутствии аппетита. Хотя на него (отсутствие) редко кто жаловался. Подтверждали это и застолья с друзьями и родственниками, которые бывали у нас довольно часто. Молодость родителей, легкий характер (в то время) моего отца, наверное, этому способствовали. С течением времени все эти походы в гости и ответные визиты перекочевали в область воспоминаний. А тогда на стол выставлялась бутылка «Столичной» с контуром улицы Горького на этикетке, блюдо с селедкой, обложенной колечками лука и соленого огурчика, тарелки с винегретом и салатом оливье. Венчала изобилие баночка шпрот. В качестве горячего блюда чаще всего появлялось пюре с пышными котлетами. Мне наливали рюмочку сладкой вишневой наливки, которую виртуозно делал дедушка в громадной бутылки, обычно стоявшей в темном углу за его кроватью. Все-таки время, наверное, требовало веселья. Всего лишь десять с небольшим лет прошло после окончания страшной войны, завершилась эпоха террора, Хрущев со своей кукурузой и кузькиной матерью вызывал скорее недоумение, чем антипатию. Все было еще пока неплохо. Заводы работали, и даже цены изредка на какие-то мелочи снижались. Мне доверяли роль современного диджея, и я с восторгом включал патефон, вернее, электрофон и с чувством понимания возложенной ответственности ставил на диск пластинки с хитами тех лет. «Брызги шампанского», «Приорита», «Случайный вальс», «Песенка джаз-болельщика»... Иногда это сопровождалось танцами, иногда — просто застольными тары-барами с популярными анекдотами, которые всегда были в запасе у громче всех хохотавшего папы. Завершал пиршество чаще всего наполеон, после чего самый частый наш гость дядя Боря расстегивал верхнюю пуговичку на брюках, пересаживался на диван и с наслаждением повторял коронную фразу: «Это — от души». Другой дядя Женя, вероятно, тоже с чувством глубокого удовлетворения (как часто тогда писали в газетах) вторил ему: «Так, шутя, можно и накушаться». Наполеон, как и подобает императору, был роскошным. Не помню, чтобы на столе был покупной торт. То ли их тогда пекли меньше, то ли мама предпочитала бабушкины рецепты магазинным. Впрочем, какая разница. И я (главный ценитель), и гости были довольны.

Уходит время бескорыстных песен, все реже слышно: «Друг, товарищ, брат»...  
 Все чаще: неудачлив — значит честен, зато нечестен — выгодно богат.  
 Ты чувствуешь, дружище, как уходит наивная застенчивость, и с ней —  
 Нелепое, как дым без парохода, теряет голос эхо наших дней.

Время не уходит. Вместе с его приметамы уходим мы. А приметы эти разные. Для кого-то — моменты карьеры и любви, прочитанные (или написанные) книги и песни, фильмы и картины... А для кого-то, в соответствии с возрастом, — детские игрушки, походы в цирк или на елку, подарки ко дню рождения, дружеские разговоры и невинные (а может, и винные) поцелуи... В середине 50-х для меня, естественно, важнее были игрушки и дальше по тексту. Память сохранила не так много. Главной видится башня с вращающимся коромыслом, к концам которого подвешены дирижабль и самолет. И вот они друг за другом летят, как на карусели, и пропеллер у самолета вращается. Так мне это нравилось... Вроде незатейливая заводная игрушка. Но на крыльях и фюзеляже — красные звезды, серп с молотом. Маленькому человечку дается сигнал — этим надо гордиться. Грамотный, в принципе, подход. Поражали волшебными картинками калейдоскопы. Крутишь картонную трубочку у глаз — и такие чудные узоры появляются. Конечно, в конце концов калейдоскоп разламывался, и из трубочки выпадала горстка разноцветных стеклянных камешков. И все. Как превратить унылые камешки в сверкающую картину? Это, наверное, задача всей жизни. Правда, тогда об этом не задумывался. Но зарубка в голове осталась: внутри всякой красоты — пустота, камешки или труха (это уже после того, как удалось препарировать плюшевого медвежонка). Игрушек было немного, и, наверное, поэтому почти все они были любимыми. Замечательным был запах нового, ярко раскрашенного заводного грузовичка-самосвала.

Это был запах краски, резины (колесные покрышки снимались, как настоящие) и чего-то еще. Сейчас бы сказал — аромат странствий, дальней дороги (в кабине сидел шофер, и руль вращался, двигая колеса). А тогда это был запах новой игры, неизведанных приключений. Что, в принципе, одно и то же. «Приключения Буратино» — так назывался диафильм, который мы с дедушкой часто смотрели, включая фильмоскоп и направляя его луч на белую простыню, приколотую к стенке. Перед этим занавешивалось окно, и комната начинала напоминать зрительный зал кинотеатра. Диафильмов было много, среди них — сказки, идеологически выдержанные истории о детях-героях, фотомонтажи кадров детских фильмов. Особенно нравился фильм о военных моряках «Морской охотник» и сказка «Война грибов», где бедные и скромные грибы побеждали богатых и надменных. Дедушка читал титры медленно, что называется, с чувством, толком и расстановкой. Заканчивался сеанс обычно тем, что фильмоскоп перегревался, достигал температуры утюга, и фотолента начинала дымиться. Дед провозглашал: «Все, кина не будет, пошли кушать». И возразить ему было нечего. Кроме игрушечного грузовика, в памяти остался и настоящий, который заехал к нам во двор и простоял там пару дней. Скорее всего, это была «трехтонка» ЗИС-5 с удивительными красными кожаными сиденьями в кабине. Мне разрешили сидеть в кабине, сколько я захочу, и я там пробыл почти весь день, с перерывом на обед. Рулил, бибибал, пропитался запахом бензина и вечером сказал папе, что надо купить такую машину. На что он резонно ответил: «Вот вырастешь и купишь». Не купил. Но запах бензина нравится по-прежнему. Я был домашний ребенок, наверное, даже чересчур. Это не помогло мне в дальнейшем, скорее, наоборот. Но дружки на улице у меня были, хотя родители с сомнением хмурили брови — «неподходящая компания». Но поскольку никакой альтернативы не было, разрешение на уличные игры я все же

получал. Дед говорил: «Иди-иди, твои босяки уже заждались». Босяки — это прежде всего Женька Нестеренко, которого все дошкольные годы считал лучшим другом (потом он пошел в другую школу, потом его семья переехала в другую квартиру... Где ты, Женя, ау). Были еще Нина и Сергей Шубины с соседнего двора, Валя Преображенская. Но они были старше меня, а Женя — ровесник. Именно с ним мы в нашем дворе нашли зеленый наган, немецкую гофрированную фляжку и пишущую машинку с немецким шрифтом. Все это лежало в кустах сирени, которую мы с ним старательно обнюхивали в один из майских дней. Как более предприимчивый, Женька забрал все находки, но по простоте или дурости показал маме. Реакция была моментальной — все было изъято и якобы выброшено. В общем, потирая открученное мамой ухо, Женя предложил в следующий раз найденное оружие взрослым не предъявлять. Но следующего раза, слава богу, не было. С Женей мы совершали экскурсионно-ознакомительные походы по окрестным улицам и переулкам. Это было время, когда бывшая окраина постепенно становилась центром города. Наша улица Франко уже одним концом упиралась в телецентр с громадной вышкой, которая появилась рядом с 20-й школой, куда мне предстояло поступить и посещать ежедневно в течение 10 лет. А с другой — в новую площадь, где на глазах сооружалось белокаменное роскошное здание будущего обкома партии (его сразу назвали Белым домом, и пусть Вашингтон недоумевает).

Я жил на улице Франко, и время называлось «Детство»,  
С 20-й школой по соседству. Все остальное — далеко.  
Взлетал Гагарин, пел Муслим, «Заря» с Бразилией играла,  
И, словно ручка из пенала, вползал на Ленинскую ЗИМ.  
В «Луганской правде» Бугорков писал про жатву и про битву.  
Конек Пахомовой, как бритва, вскрывал резную суть годов.  
Я был товарищ, друг и брат всем положительным героям  
И лучшего не ведал строя. Но был ли в этом виноват?  
Хотя наивность и весна шагали майскою колонной,  
Воспоминаньям свет зеленый дают другие времена.  
Я жил на улице Франко в Луганске — Ворошиловграде.  
Я отразился в чьем-то взгляде пусть не поступком, но строкой.  
А время кружит в вышине, перемешав дела и даты,  
Как будто зная, что когда-то навек останется во мне.

В памяти остается далеко не все. Многое (даже слишком) забывается. Но, видно, есть какая-то высшая логика в отборе воспоминаний. Хотя я жалею, что не вел дневник. Начинать один раз, в восьмом классе. Пару вечеров записывал в тетрадь то, что происходило днем. Но это было так натужно и ненатурально, что мне даже стало стыдно, и я с легкой душой плюнул на это дело. Больше к мыслям о создании былинной летописи «дней суровых» не возвращался. Тем более через несколько лет начал писать стихи, в которых старался быть искренним и честным по отношению к себе. А возвращаясь к нашим с Женей будням «отпетых бездельников» (это так мама однажды нас назвала), вспоминаю, что застали мы с ним и конный двор, на месте которого с течением времени появился центральный рынок и прилегающая к нему «базарная» площадь. Ряды «линеек» и подвод притягивали наше внимание. Это было замечено извозчиками, и один из них благосклонно прокатил нас на своей телеге, сделав круг и покрякивая «Нно, пошла, родимая!» Но подержаться за вожжи не дал. «Ну, так и не огрел», — благоразумно заметил Женька, уже имея в этом определенный опыт. Излюбленным нашим маршрутом было посещение «синего» магазинчика, который распо-

лагался на месте нынешнего русского драматического театра. Он был действительно синего цвета и, похоже, построен из фанеры. Торговали в нем канцелярскими принадлежностями, бижутерией и даже игрушками, что вызывало повышенный интерес. Однажды, придя в очередной раз на свидание с его манящими витринами, мы обнаружили лишь синие развалины, зато рядом работал экскаватор, что было еще интересней. Город строился и перестраивался, меняя свой облик, превращаясь из большой деревни в настоящий областной центр со своим неповторимым обликом и нравом. Причем все это происходило достаточно быстро. Обретала реальные очертания нынешняя Театральная площадь, обрамленная комплексом пятиэтажных жилых домов, где получали квартиры в том числе семьи заводчан. Мы тоже ждали своего часа. Помню, как однажды вечером пошли на эту площадь просто побродить, обсуждая какие-то животрепещущие вопросы. И вдруг со страшным гулом обрушились четыре этажа нового дома, расположенные над аркой, сделанной для прохода во двор. Зрелище было страшное. Никто не пострадал, потому что дом еще не был заселен. Говорили, что при строительстве использовали цемент не той марки, а может, просто в раствор добавляли слишком много песка, в расчете, что и так сойдет. Не сошло. Но восстановили его очень быстро и благополучно заселили. Думаю, что мало кто помнит о том обрушении. Дом стоит. По одну сторону арки — магазин «Кохана» (по-моему, очень удачное название), по другую — долгие годы был междугородный телефон-телеграф, а что будет — время покажет. А вот что было в нашем дворе, еще есть время вспомнить. Во-первых, там стоял турник, которого я откровенно боялся, особенно после того, как однажды папа посадил меня, я молодецки схватился руками за перекладину и... бессильно повис, подергиваясь и раскачиваясь. Папа не нашел ничего лучшего, как при всем честном народе (как назло, мои гимнастические изыски обозревали все соседи) пренебрежительно воскликнуть: «Висишь, как сосиска!» Соседи посмеялись в тон этому шедевру педагогики, а я на долгие годы заимел комплекс страха перед перекладиной. Еще во дворе были два столика с лавочками, где можно было выпивать и закусывать, играть в домино или обсуждать внешнюю политику (внутреннюю из понятных опасений не трогали). Говорят, что соседи будут везде, даже в раю. Я плохо помню наших соседей. Мы занимали половину дома, а во второй жила немолодая (по тем моим взглядам) женщина с сыном, старше меня на несколько лет. Его звали Сеня Симкин, он, став взрослым, работал электриком на тепловозостроительном заводе, слыл книгочеем, о чем даже было написано в заводской газете. Друзья звали его Сэм, и я спустя много лет вздрогнул, увидев стихи его полного тезки Сэма Симкина. Сеня погиб молодым. Будучи в гостях, он с друзьями вышел на балкон, который неожиданно рухнул, похоронив под обломками двух приятелей. Светлая память. А его мама по каким-то причинам враждовала с моим дедом, да и родителей ее недолюбливали, называя «рыжей». Никаких скандалов не было, но действия «рыжей», ее кулинарные пристрастия и фасоны одежды обсуждались без одобрения. Во дворе был маленький огородик, несколько деревьев и шикарный куст сирени, который рос прямо возле забора, что создавало предпосылки для ежегодных покушений на целостность его композиции. Старшие пацаны бессовестно дарили охапки «нашей» сирени своим барышням. Так что сиреневый туман был у нас обычно непродолжительным и сопровождался дедовыми угрозами в адрес «босьяков», ломающих такой справный куст на букеты своим «шиксам».

Сирень парит над садом, взмывая в небеса.  
И кажется, что рядом вершатся чудеса.  
И у судьбы в запасе — еще пять лепестков.  
В несбыточное счастье поверить я готов.

Летом, когда, как в песне, «поспевали вишни в саду у дяди Вани», и не только у него, но и по всей округе, урожай собирался всем наличным семейным составом (взрослые собирали в кошелки, а я прямо в рот). Потом после мытья вишен и освобождения их от косточек (тоже процедура, требовавшая терпения и определенных навыков) во двор выносился медный таз, между кирпичей раскладывался костер, и уже вскоре над розовопенным, бурлящим вареньем, будоража весь двор, зависал дымно-вишневый аромат (куда там «Баунти» и прочие псевдорайские наслаждения)... Пенку собирали на блюдечко, потом в нее макалась булочка, и все это запивалось молоком. При том, что в другие жизненные периоды я молоко не переносил. Дед, тоже не пропускавший момента дегустации, удовлетворенно давал резюме: «Вот и зимой будет фрухт, и Курчатову приятно». Почему Курчатову? Это он меня так называл. Дедушка был уверен, что я тоже совершу какое-то открытие и буду большим ученым. Не оправдал...

Детство пахнет цветами — майорами, что росли на соседнем дворе.  
И вишневым вареньем, которое розовело в саду на костре.  
Детство пахнет листвою осеннею, что под ветром взлетает, шурша...  
Что ж так больно глазам? На мгновение запах детства узнала душа.

Вообще, еду готовили на печке, которая находилась в коридоре и регулярно загружалась углем, а потом разгружалась золой (или, как называл ее дед «жужелкой»). Дедушка следил за печкой по очереди с папой. Но часто кастрюльки и сковородки кипели и скворчали на керогазе (а у «рыжей» был примус). Бутылка с керосином стояла в коридоре на полке, привлекая своим мужественным авиационно-автомобильным ароматом. Родители рассказывали страшную историю, как чей-то маленький сын, очарованный этим запахом, щедро хлебнул из подобной бутылки и потом остался инвалидом на всю жизнь, а мог бы и погибнуть. Рассказывалось это таким страшным тоном, что охота хлебнуть керосин даже не возникала. Как я уже писал, в сотне метров от нашего дома располагалась телестудия. Однажды присутствие телевизионщиков проявилось совершенно неожиданным образом. Это было на закате существования улицы Франко. Дома тут начали сносить, переселяя жителей в новые пятиэтажки. Улица выглядела как после бомбежки, и это привлекло режиссера документально-игрового фильма о войне, который затеяли снимать на телестудии. У дома, уже покинутого бывшими обитателями, поставили указатель на немецком языке «Дранг нах остен», рядом повесили флаг с фашистской свастикой... Зрелище было даже для нас, детей, жуткое. И вот в один из дней утренняя тишина была буквально потрясена серией взрывов. Мы с Женькой, не сговариваясь, ринулись посмотреть, что происходит. За нами с проклятиями спешил ошалевший от неожиданной канонады дед. Оказалось, пиротехники взорвали несколько зарядов для придания съемочной площадке максимальной степени достоверности. Артист в военной форме с перевязанной головой штурмовал развалины соседского дома. «От раненые в... голову, — с досадой сказал дедушка. — Напугали всех, кому не лень». Съёмки закончились быстро. Наши победили. А фильм тот по телевизору мы так и не посмотрели. Был в моей жизни еще один момент, связанный с киносъёмочным процессом. Когда я служил в армии, к командиру батальона приехал ассистент режиссера фильма «По чистую воду» и попросил выделить на один день взвод солдат для того, чтобы они в немецкой форме прошагали по деревенской улице, а потом загнали местных жителей в реку. За это обещали всех покормить и выплатить по три рубля. На наше счастье, выбор пал на наш взвод. На следующее утро нас отвезли в деревню и выдали фашистскую форму. Мне достался китель с подписью «Фриц Вернер». Помню, мой друг Игорь Сушко посмо-

трел на меня и сказал: «Ну, у тебя и видон». Действительно, представить меня в фашистской форме нелегко. Жаль, не осталось фотографий. Сейчас этих «селфи» наделали бы сотни. Потом нас вооружили автоматами «шмайсер» (не настоящими, а искусно сделанными копиями) и повели на построение. Не было ни сверхзадачи, ни глубины проникновения в образ.

Нужно было просто пройти и прокричать песню: «Дойчланд шпацирен, зольдатен, официрен». Только недавно узнал, что это означает «Германия гуляет, солдаты, офицеры». А тогда думал, что шпацирен — это что-то вроде танков. В общем, спели мы эту поганую песню. Тем более что опыт хорового пения уже был большой. Потом был обед: гуляш, пюре и компот. По сравнению с солдатской столовой — очень вкусно. А после обеда несколько наших с автоматами должны были подталкивать жителей деревни к реке с криками «Шнель» и «Цурюк». Я в эту группу не попал. Все-таки ассистент режиссера был не дурак.

Бурьян пророс из детства моего. Я не узнал его. Он посерел от пыли. Качаясь скорбно на ветру, он шелестит. И шепчет мне: «Мы были. И ты играл со мной в военную игру...» — «И с другом! — я кричу ему. — И с другом!» И смотрит дочка на бурьян с испугом. А он пророс из детства моего.

Возвращаюсь мысленно в наш двор, где, кроме всего прочего, была будка и овчарка Мальва. Взаимоотношения у нас с ней были абсолютно нейтральные. Меня она, видимо, воспринимала как неизбежную часть своей территории, равнодушно давала себя погладить, что называется, без любви и ненависти. Дед ее кормил, пытался воспитывать (без всякого результата). А любила она папу, радостно встречала, когда он приходил с работы, и даже «через не хочу» выполняла какие-то команды. Как я понял потом, время дрессуры было упущено, и Мальва была хоть и овчаркой, но необученной, в ранге дворняги. Характер у нее оказался строптивый и вздорный, и демонстрировала она его всем незнакомым людям, изредка заходившим по каким-то вопросам к нам во двор. Кому-то она порвала брюки, а кому-то плащ. Папе пришлось извиняться, компенсировать убытки, что понравиться ему не могло в принципе. Как говорят сейчас, «от слова совсем». В конце концов Мальва отправилась на ПМЖ к папиному сотруднику, который жил тоже в частном доме в Каменном Броде и очень хотел приобрести овчарку. Первое время папа интересовался: как там Мальва? Сотрудник был доволен: злая, сильная, настоящая хозяйка своей территории, к тому же у нее возник роман с соседним кобелем. Видимо, решение о смене собачьей прописки было правильным.

Всему свой срок. И снова листопад, Донбасский воздух терпок и морозен.  
Не так уж много лет назад неотвратимым был парад,  
И улиц лик — орденосен. Всему свой срок. Кочевью и жнивью,  
Закату и последнему восходу. Всему свой срок. И правде, и вранью,  
И нам с тобой, живущим не в раю, а здесь, среди дыханья несвободы.

Улиц лик орденосен в середине 50-х был, как минимум, два раза в году — 7 ноября и 1 мая. День Победы тогда был рабочим днем. Я ходил на демонстрации поочередно — то с мамой, то с папой. Мне нравилась атмосфера праздника. «Утро красит нежным светом...», «Широка страна моя родная...» — Дунаевский создал музыкальное воплощение радости и душевной бодрости. Перед демонстрацией на указанном месте собирались заранее. То есть праздничное утро было ранним, не медленным и ле-

нивым, как в воскресенье, а таким быстрым, веселым, под духовые оркестры, которые по дороге, не теряя времени зря, уже наяривали марши и вальсы, под громкоговорители, которые занимались тем же, плюс озвучивая какие-то лозунги и призывы. Из приветствий запомнил такое: «А вот идет колонна корейских женщин! Поприветствуем ее! Ура!» Почему корейских — а кто его знает! Быстрый завтрак перед демонстрацией — он тоже праздничный. Холодец, оливье, наполеон... Папа «хлопал» для бодрости 50 грамм «Столичной», и мы «шли на парад», а заранее надутые воздушные шарики трепетали в моей руке. Дедушка оставался дома, но надевал какой-то праздничный китель и благоухал «Тройным» одеколоном. Мама реагировала на это неодобрительно: «Завонял всю квартиру». В ответ на эти претензии он перешел на «Шипр», и мама безрадостно смирилась. Места сбора были разные. Поначалу — в районе Ленинской, и все колонны должны были продемонстрировать верность вождю, пройдя мимо его памятника, вокруг которого сооружалась трибуна. Потом маршрут поменяли, и все шагали по новой и просторной Советской, где трибуна была намного больше и вдоль нее трепетали флаги с портретами членов Политбюро, а также знамена союзных республик.

Сейчас понимаю, что во всем этом было много лицемерия, и радость во многом была показная. И все же она была, эта самая радость. Пока стояли в ожидании начала демонстрации, начинались стихийные танцы под баян или духовой оркестр. Плясали краковяк и еще какие-то мудреные пасодобли. Дурачились, короче. Пели, хототали... И выпивали (прямо из горла, а че — праздник)! Настроение было веселое, что ни говори. Наконец старшие колонн командовали построение, раздавали знамена и плакаты — не с пустыми же руками идти мимо трибун, и в рваном темпе, то ползком, то бегом, мы приближались к трибуне с местными небожителями. «Ура!» — кричали мы вместе с папой, и рядом все тоже орали, и музыка играла, и с трибун махали приветственно вожди. Чему радовались? Просто жизни. Миру, относительной свободе, весне и грядущему лету в мае, наступающему Новому году в ноябре... Это я так сейчас думаю. А тогда мне было не до размышлений. Главное — громко крикнуть «Ура!». И папа, большой остряк, видя, как я стараюсь, заботливо предупреждал: «Смотри, не пукни». И все смеялись.

В городе фонтанов жил рабочий люд. Вроде ничего не изменилось.

Только вот характер стал у жизни крут. И фонтаны плакать разучились.

В небе проплывают те же облака. Равнодушно смотрит в реку ива.

Кажется, вот-вот зажмуришься слегка, — и опять, как в детстве, все красиво.

Только все, что было — не вернуть назад. Жизнь идет, как поезд без стоп-крана.

Кто ты мне, — товарищ, волк или брат, город, что забыл свои фонтаны.

Забыто — не забыто... Что-то все-таки остается в памяти. Причем хорошее запоминается легче и помнится лучше. Видно, человеческий мозг так устроен. И может быть, это поможет не только восстановить все разрушенное, но сделать лучше, удобнее, красивее... А как иначе? Большинство людей хотят того же, просто делают иногда совсем не то, что хотят. Но желают друг другу, особенно по праздникам, только счастья и благополучия. На то и надежда. Особые пожелания всегда — к Новому году. Вроде и праздник такой, что больше грустного в нем, чем радостного: все становятся на год старше. Что хорошего, казалось бы... Но веселятся все от души и радуются в надежде, что вдруг вместе с новым годом действительно придет новое счастье. Для меня в те годы встреча нового года начиналась с установки елки, которая помещалась в крестовину в углу зала. Сначала на ее ветвях появлялись конфеты и мандарины, их запах смешивался с ароматом хвои, и это было первой приметой праздника. Но глав-

ное — елочные игрушки. Они были разные, мне нравились все, но особенно — какие-то просто волшебные матовые шары розового, желтого и салатного цветов. Они были так хороши, что их хотелось съесть. Как сказала мама, шары были немецкими, и ей их после войны подарил какой-то ухажер. Вообще, по ее редким воспоминаниям, за ней ухаживали многие, особенно в студенческие годы. Она была яркой, смешливой, статной девушкой, похожей, как ей говорили, на знаменитую актрису Дину Дурбин. Училась в Харьковском медицинском институте и была врачом по велению души. Причем врачом — детским, отзывчивым и заботливым. Ее называли очень хорошим диагностом — практически не ошибалась, ставя диагноз. Старалась быть в курсе всех медицинских новаций, читала научные журналы (потом ее новаторство вышло боком в моей судьбе, и журналы она читать прекратила). Из всех кавалеров (среди которых был и ставший потом местным олигархом Аркадий Лесничевский) она выбрала симпатягу морячка Давида (какую-то роль, видно, сыграло и то, что так же звали погибшего на войне брата). В глазах многих они, вероятно, были идеальной парой. По крайней мере, в 50-е годы это было недалеко от истины. Фраза Аркадия Гайдара из «Голубой чашки» о том, что «жизнь, товарищи, была совсем хорошая», в то время была и о нашей семье. Взаимная любовь делает возможным счастье без богатства — это точно. Счастье отражалось в тех матовых шарах, оно сверкало в елочных гирляндах и вращало пропеллеры самолетиков и дирижаблей, украшавших нашу елку. Кроме них, тогда среди модных елочных игрушек были ракеты, космонавты, початки кукурузы, солдатики... Кстати, солдатики (и оловянные, и пластмассовые) были и среди моих повседневных игрушек. Но любимыми они так и не стали, не было во мне, видно, военной жилки. В общем, появление елки (украшали ее примерно за неделю до нового года) знаменовало приближение праздника. Видимо, новогодними подарками меня тогда не баловали, потому что память о них не сохранилась вовсе. И сам новогодний вечер проходил в «рабочем» режиме: спать я отправлялся по расписанию, а родители, думаю, сидели за столом под радио и патефон, а с появлением телевизора — под «Голубой огонек».

Праздник продолжался ежедневными походами на городскую елку, которая работала в режиме карусели, и устанавливалась на центральной площади. Но главным было посещение новогоднего представления во Дворцах культуры имени Ленина или Маяковского и получение вожеленного подарка. В ДК Маяковского было хорошо. И Дед Мороз со Снегурочкой плясали в хороводе, и подарки за рассказанные стишки и спетые песенки давали (цветные карандаши и раскраски), и потом в зале был детский спектакль с мультфильмами. Но в ДК Ленина все было интереснее и, что ли, качественнее. Это как первый и высший сорт. Почему-то мне родители чаще приносили приглашение именно в ДК Маяковского. Но огорчение если и было, то — мимолетным.

День короче на минуту, незаметную, как будто.  
 Незаметную, но все же старше все, а не моложе.  
 Старше на сердцебиенье, сам себе шепчу: «Держись!»  
 Думаешь: «Прошло мгновенье...» А оно длиною в жизнь.

Радость ожидания родных, маленьких чудес, больших подарков...  
 Радость оттого, что в этот миг даже сердцу становилось жарко.  
 Радость ожидания любви — и открытия, что это — рядом...  
 Годы, как мячи, летят — лови! И ловлю. И провожаю взглядом.

Ощущением праздника осталось в памяти возвращение отца из командировки в Москву в фестивальный 1957 году. Он привез не виданные раньше конфеты, а так-

же пластинки и книги. Главной пластинкой на несколько дней стала та, где на итальянском языке пели «Эй, мамбо!». Помню, мы сидели на диване и втроем подпевали что есть мочи. И смеялись. Вообще, в то относительно безоблачное в моей судьбе время мы пели (напевали) часто. Почему-то особенно полюбились нам строки из радиоспектакля «Надя Коврова, честное слово, мы потеряли покой...». Дальше не помню. Но как раз именно покой тогда мы не теряли. Потерян он был намного позже. А тогда самым грозным замечанием из уст папы было: «Надо на тебя пожаловаться Дагу Хаммаршельду». Кто это такой, я понятия не имел, но представлял его как персонажа из журнала «Крокодил», на страницах которого было полно карикатурных изображений кровожадных империалистов и прочих «поджигателей войны». На одном из них страшный старик во фраке и цилиндре с жутким видом сидел и грыз громадную куриную ножку, олицетворявшую, видимо, то ли Африку, то ли Европу. Но, кстати, грыз настолько аппетитно и натурально, что мне, к изумлению родителей, захотелось тоже попробовать (изумлению, потому что к отсутствию аппетита у меня в то время уже привыкли). Папа сказал: «Полезный журнальчик». Повзрослев, я узнал, что Хаммаршельд был Генеральным секретарем ООН, которого недолюбливал Хрущев... Чомбе, Мобуту, Лумумба — эти африканские фамилии были, наверное, на слуху у всех жителей нашей страны. Уж если я, ребенок, запомнил их на всю жизнь, это говорит само за себя. Как-то в очереди, в которой мы стояли с папой (за чем — уже не помню), кто-то сказал сокрушенно: «Убили Лумумбу, гады». И все с сочувствием вздохнули. А дед говорил: «Лубумба и Чомба». И тон у него при этом был грозный.

Лумумба, Дэвис, Корвалан... Кто помнит звонкость их фамилий.  
От «жили-были» до «забыли» — тире, как от «пропал» до «пан».  
А я вот помню. «Миру — мир!» — кричал на митингах со всеми.  
Прошло свое-чужое время. Конспект зачитан аж до дыр.  
А мира не было и нет. Похоже, здесь ему не рады.  
И эхо новой канонады летит, как бабочка на свет.

Короче, Хаммаршельду папа так и не пожаловался, а вот пластинку «Эй, мамбо» поменял на другую, где Владимир Трошин пел «Осенние листья» и «Тишину». Тоже очень хорошая. Но я жалел, что «Мамбу» мы уже отпели. Кстати, поменялся он со своим заводским товарищем Жорой (Георгием Захаровичем Сиротенко), очень хорошим, добрым дядей, каким я его запомнил. Его внучка Таня стала впоследствии известна всему миру как Татьяна Снежина. Теперь памятник ей стоит в городском сквере Луганска, а ее «Позови меня с собой» и по сей день зовет в мир музыки и стихов.

Среди книг, которые привез папа, были подарочное издание «Чапаева», ставшее подарком мне на день рождения, и роман Владимира Беляева «Старая крепость». Сегодня думаю, что роман — так себе, идеологии в нем чуть больше, чем литературы. И все же... Папа читал его вслух, а мы с мамой лежали на диване и слушали. И это было здорово. А то, что в голове у меня по-прежнему сидят имена героев этого романа — Петьки Маремухи и Витьки Тиктора, что-то да значит. Все-таки это — литература. А идеология... Так где ее нет? Став взрослым, я перечитал книгу, многое меня разочаровало, но отдельные части написаны увлекательно и живо. А увлекательность письма, как говорит хороший писатель Юрий Поляков, это — вежливость автора. Вот так.

Прочитано так мало. Читается так трудно.  
Дорога от вокзала уходит прямо в будни.  
А мир вокруг великий. И снова зреет завязь...  
Читаю жизнь, как книгу. Никак не начитаюсь.

Ветер траву, словно прачка, полощет  
 Там, где Донец и Зеленая Роща.  
 Где, как погоду, автобуса ждут  
 И где до речки всего пять минут,  
 Там, где не слышен промышленный дым,  
 Там, где Донбасс так походит на Крым...

Всесоюзной кузницей, житницей и здравницей Луганск, конечно, никогда не был. Главные его отличительные приметы, говоря современным языком, «бренды» или «тренды» — тепловозы, «Луга-Нова» (то есть водка) и «Заря». Я бы добавил еще и конфеты. Но это было актуально в 60–70-е годы, когда местная кондитерская фабрика поставляла для нужд членов Политбюро (!) такие прославленные сорта конфет, как «Курочка Ряба», «Планета», «Футбол», «Шайба», «Гулливер», «Аппассионата»... И качество у них было приличное, и упаковка сделана с выдумкой (что для советских изделий, надо честно признать, было нехарактерно). Потом все куда-то исчезло, а фабрика стала филиалом для донецких хозяев. Прямо иллюстрация вечной истины: «Все проходит».

Из ниоткуда в никуда не может течь даже вода.  
 Распутает событий вязь причинно-следственная связь.  
 А что неведомо уму — потомки все-таки поймут,  
 Найдя, быть может, в толще лет и наш с тобою слабый след.  
 Лишь время канет без следа из ниоткуда в никуда...

О чем это шепчет под ветром трава? Глухи и невнятны чужие слова.  
 О чем это тополь мечтает? Никто никогда не узнает.  
 Никто никогда... Но, как вечный Улисс, стремится в ладонь мою сорванный лист.

И все же здравницы, даже всесоюзного масштаба, в округе Луганска тоже были. Кременная, Новопсков, Веселая Гора, Зеленая Роща (которая, кстати, во времена моего детства называлась Лысой Горой). Зеленую Рощу можно смело назвать курортным поселком, где недалеко от пляжей Северского Донца расположены несколько детских оздоровительных комплексов (пионерских лагерей — звучит привычнее). Там же — Дом отдыха, построенный в 30-е годы по всем канонам «военного коммунизма», и заводской санаторий-профилакторий, одно время (в 80-е годы) вполне отвечавший представлениям о комфортном, беззаботном отдыхе, да еще и с элементами лечения. Летом 1955 года родители взяли меня с собой в Дом отдыха на Лысой Горе. Кое-что в памяти осталось. А именно то, что все мне там не нравилось. Свое недовольство я выражал, как умел. А умел, как вспоминал папа, громко. Спустя 25 лет мы по совету врачей повезли дочь, которой было столько же лет, сколько мне в том злополучном Доме отдыха, на оздоровление в Ялту. Там по степени громкости она определенно превзошла меня. Сказать, что эта наследственность сильно порадовала, не могу. Но здоровье — превыше всего. На следующий год родители решили, что я поеду с мамой в пионерский лагерь в ту же Лысую Гору. Она там была врачом и жила в комнате при медпункте. Папа не возражал. Меня определили в отряд для самых маленьких. Первый день прошел относительно спокойно, хотя отсутствие детсадовских навыков и привычек сказывалось на настроении. Ночью, с тоской осмотрев палату с тридцатью спящими незнакомыми пацанами, я решил вылезти в окно и отправиться на поиски маминого домика. И сейчас помню тот ужас, с которым я, подвывая, носился в крошечной мгле по территории лагеря и никак не мог найти медпункт.

Слава богу, кто-то из вожатых вышел в туалет и столкнулся со мной. По-моему, мы испугались в равной мере. Узнав сквозь мой рев, что я сын докторши, он отвел меня к потерявшей дар речи маме, где я и пробыл какую-то часть потока. Вместе с нами в лагере по маминой протекции отдыхала моя старшая двоюродная сестра Майя. Она перешла в десятый класс и была, на мой взгляд, очень красивой девушкой. То, что я не ошибаюсь, подтверждало повальное ухаживание за Майей старших «пионэров», как она их называла, и даже сотрудников лагеря. Один из них, недавно демобилизовавшийся из армии, показывал ей в моем присутствии, как выполняется команда «упал-отжался». Сильное было зрелище. Но Майку оно не заинтересовало. В конце концов, сжалившись надо мной, приехавший на родительский день папа забрал меня домой. Дедушка был доволен. «Нелагерный ребенок», — констатировала воспитательница отряда, куда я был прикреплен.

Еще раз я попал в этот же лагерь после шестого класса. В окно не выпрыгивал, но считал дни и часы, когда закончится эта пытка. «Нелагерный» — это точно. Опыт продолжился после второго курса института, когда неизбежный трудовой семестр обернулся работой вожатым в лагере «Ласточка». То есть я оказался по «другую сторону баррикад», где тоже все было не так просто. Приветствия, речовки, ежедневные отчеты, дежурства, построения, линейки... Но я искренне старался, чтобы дети (а я вновь оказался в самом младшем отряде) чувствовали себя комфортно. Мы играли, устраивали конкурсы и соревнования, читали вслух, пели... Несколько лет еще потом, случайно встретившись на улице, ребята узнавали меня, останавливались, с теплом вспоминая лагерь. Не скрою, это было приятно. Не помню точно, с каким номером выступал на «Консоле» (концерт сотрудников лагеря)... Что-то мы пели, традиционно танцевали со швабрами. А вот вожатские посиделки после отбоя (не возле костра, а за столом) отпечатались в памяти более рельефно. После одной из них, на которой показавшиеся поначалу безобидно вкусными «рожеве мицне» и «биле мицне» («биомицин» в народе) лились рекой, выполняя роль и вина, и воды, я еле добрался до нашего отряда. С огромным трудом поднялся на второй этаж, где под комнату вожатых оборудовали чердак, но спать не мог — «все кружилось и вертелось». Промучившись до утра, зеленый и помятый, еле дополз во главе отряда на линейку, и тут выяснилось, что пришла моя очередь вести лагерь на пляж. Тропинка шла вдоль некрутого, но обрыва, и мне постоянно казалось, что пионеры прыгают туда вместе с мячами, горнами и барабанами. А вслед за ними — собаки и кошки, которые прогуливались неподалеку. Старшая пионервожатая подошла ко мне, посмотрела с безразличностью (и немного с жалостью) и сказала гениальную фразу: «Не можешь — не пей». Вот я и не пью. На прощальной вечеринке, которая завершала поток, уже после отъезда пионеров, вино так же лилось рекой, но я, наученный печальным опытом, отдавал должное салатам и котлетам, щедро выставленным на стол юными поварами. Тут в полной мере проявилась моя инфантильность и, скажем так, неторопливость общего развития. Вечеринка развивалась, как сказано в классике, ступенчато. Возлияния, тосты, танцы... Я тоже танцевал, причем так получилось, что все время с одной и той же пышной, круглолицей девушкой. Она рассказывала про учебу в кулинарном училище, о своих подружках... Спрашивала о моей учебе, плотно прижимаясь и крепко положив руку мне на плечо. А я рассказал о новинках журналов «Юность» и «Иностранная литература», ощущая по ее горячему дыханию, что команды «Стоп, „биомицин“» она в тот вечер не давала. После очередного танца она сказала: «Приходи через часок к нашему домику». Я взволновался, смутился, ответил, что, наверное, не смогу, завтра рано вставать. Она на меня посмотрела, усмехнулась, произнесла: «Ясно, малыш». Больше мы не танцевали. Я, проклиная свою застенчивость, поплелся к нашему домику. Под утро явился мой друг, с которым мы делили на двоих вожатский чердак. Он

пришел довольный, с загадочной улыбкой. На мой горестный рассказ о неудавшемся свидании он ответил коротко: «Ну, и идиот же ты». Я не возражал. Все еще было впереди. Конечно, еще много чего случилось в жизни, но об этом случае и жалею, и не жалею. А в Доме отдыха в Зеленой Роще потом бывали всей семьей несколько раз и в центральном белокаменном корпусе с колоннами и лоджиями, который в отличие от жителей острова невезения был прекрасен снаружи и страшный внутри, со своими туалетами и умывальниками в конце коридора. Жили и в маленьких деревянных домиках, где была иллюзия изолированности от коллектива, но не было удобств — все на улице. Зато работала чудесная библиотека, как говорили о ней — «неразворованная», где можно было взять почитать и редкую книгу, и последние номера литературных журналов.

По утрам мы делали зарядку на спортивной площадке с чудным плакатом «Шире шаг от рекорда к рекорду, выше знамя советского спорта» (мы делали шаги шире и воображаемое знамя поднимали выше), а вечерами в летнем кинотеатре показывали кино. В общем, издержки коммунального проживания компенсировались другими прелестями и, конечно, солнцем, воздухом и пляжем на Донце. Пару раз (спасибо профкому) мы отдохнули в заводском профилактории. Что говорить... Свет и воздух. Повторю Остапа: «Как в лучших домах Европы и Филадельфии». Номера с удобствами, столовая, похожая на ресторан, зимний сад, бильярд и настольный теннис... Да и библиотека тоже — приличная. Там мы с дочерью написали первый сценарий для ее телевизионной передачи «Класс!», который главный редактор компании «Эфир-1» Николай Северин, быстро прочитав и не сделав никаких правок, запустил в производство. Это было чудо. Через две недели программа вышла в эфир. Но это уже, как говорят, другая история.

Как трудно обрести уверенность в себе, не потеряться, не раскиснуть, не сломаться.  
И в трудную минуту не сробеть, и, победив, собой не восторгаться.  
Не позабыть среди мороки дел взглянуть на небо и вдохнуть всей грудью.  
Услышать соловья. Запомнить, как он пел, запомнить все. Такого уж не будет.  
Не повторяясь даже в мелочах, волнуя, увлекая и тревожа,  
Зовет нас жизнь. В ней радость и печаль, и все впервые. Хоть и с прошлым схоже.

«В городе Сочи — темные ночи...» Звучит банально и несовременно (хотя — название неплохого фильма). Куда ближе к истине — «в городе Сочи олимпийские игры», потрясшие не только результатами, но и феноменальными церемониями открытия и закрытия. А еще Сочи — это реальная мечта из жизни отдыхающих 50–70-х годов. «В Сочах» отдыхали все, в том числе и мы. После двух не совсем удачных попыток оздоровить меня в Зеленой Роще решено было везти «худорбу», как называла меня мама, на Кавказ, в Сочи. Набраться сил перед школой. Сказано — сделано. От поездки осталось сказочное впечатление. Теплое море, в котором я плавал с кругом, но это счастью не мешало, ароматы вечнозеленых деревьев, цветов... Хотелось все время повторять: «Магнолия... Ривьера... Дендрарий...» Мне купили тибетейку, самшитовую палочку и дудочку. Мы ходили в столовую, где к нам регулярно выходила тетя-повар и спрашивала: «Ну, как вам сегодня наш борщ? Это же чудо-борщ». Но даже чудо-борщ не сделал меня «натоптанным», как надеялась мама. Я оставался очень худым, что меня совсем не беспокоило. А маме хотелось перемен. Они наступили чуть позже и стали трагичными для меня. Но тогда, в Сочи, все было прекрасно. В том числе и ресторан «Прибой», куда меня взяли с собой (оставлять, слава богу, было не с кем). Официант заговорщицки посоветовал заказать «люлю». Я заинтересовался. Оказалось, что это

шашлык «люля-кебаб», который я из уважения и любопытства отведал, но «чудо-борщ» мне нравился больше. Домой мы вернулись в отличном настроении, и я действительно почти полгода не болел, что было отмечено как рекордный результат. Болел я часто и не прошел мимо ни одной детской болезни, не считая всяких там простуд, бронхита и гриппа. Скарлатина, коклюш, ветрянка — все было изведено и лечилось мучительно. В том числе народными средствами, которые не шли мне впрок. Особенно настойчиво пытались меня поить адским коктейлем — молоком с содой, маслом и медом (часто добавляли туда сок алоэ и какао). Результат был всегда один и тот же — рвота до изнеможения. Это озадачивало папу, поскольку ему этот напиток нравился. После военного голода он уважал все продукты и не мог понять, как это может быть невкусно. Помню, когда в очередной раз я лежал с температурой в постели, к нам пришли гости — мамина подруга с сыном-крепышом, младше меня на год (он и во взрослой жизни остался крепышом, добившись успехов в тяжелой атлетике). А тогда он подошел ко мне, улыбнулся и спросил: «Болеешь?» Я кивнул. Он нагнулся и, подмигнув, сообщил как самую ценную информацию: «А я стакан сметаны съел». Потом я весь вечер думал, что надо начинать есть сметану, иначе дело будет плохо.

До аптеки и обратно. На трамвае и пешком.  
Принимаю аккуратно все таблетки с молоком.  
От бронхита до ангины тот трамвайчик держит путь.  
В перерывах — час с малиной и горчичники на грудь.  
От ступени — до ступени. В кулаке пирамидон.  
Кот садится на колени, а в ушах — трамвайный звон.  
Но лекарства помогают, и горчичники пекут...  
От трамвая до трамвая. От простуд и до простуд.

Апофеозом моих дошкольных болячек стало подозрение на наличие лишая. На свою беду, я поиграл с соседскими котятами, после чего на голове у меня появилась сыпь, и мама решила, что я заразился лишаем. То, что это было не так, выяснилось значительно позже. Мама не стала ждать, она решила действовать и повезла меня в Старобельск, в детскую инфекционную больницу. Там я перенес пытку, достойную гестаповских застенков. Мне намазали каким-то клеем голову, намотали несколько слоев марли, а потом, когда все это засохло, оторвали эту шапку вместе с волосами. Сегодня, когда большая часть волос мною уже утеряна (кстати, не из-за той ли экзекуции?), я, наверное, прошел бы через эту процедуру не так болезненно. А в пять лет было ужасно больно. Уже когда мы вернулись домой, пришли результаты анализов — лишая не было.

Но мама сказала: «Ничего страшного, отрастут новые волосы, и они будут еще лучше». Не скажу, что это меня утешило. Боль непонимания осталась на всю жизнь. Как раз в те годы в широкую медицинскую практику вошло лечение антибиотиками — пенициллином и стрептомицином. О том, что чрезмерное употребление этих препаратов чревато аллергическими осложнениями, видимо, тогда не задумывались. Лекарства были испытаны и на мне. Рука у мамы была тяжелая, и уколы она делала ощутимо, хотя папа говорил: «Подумаешь, как пчелка укусит, и все». «Ничего себе пчелка» — думал я, потирая место укола и вытирая слезы. Кстати, это не добавило любви ни к пчелам, ни к меду. Поначалу лекарства действительно помогали очень эффективно. Но, видимо, поскольку применялись слишком часто, в награду за это я получил жестокую аллергию, первый приступ которой проявился после того, как я съел несколько ягод клубники. Сначала я покраснел, потом все стало чесаться, потом стало трудно

дышать, и только вовремя подоспевшая «скорая помощь» спасла, сделав внутривенный укол хлористого кальция. Как выяснилось, аллергия — это на всю жизнь. Теперь клубнику только нюхаю.

Я сижу на подоконнике. В небо синее смотрю.  
Словно в кадре кинохроники — лист плывет по октябрю.  
Дети в садике играют, бабка курит «Беломор»,  
Незнакомая красавица через наш проходит двор.  
Все похоже на идиллию, и красавица идет.  
В небе, может быть, в Бразилию пролетает самолет.  
Ну а я с температурой им вослед, вослед, вослед...  
Только радио с бандурою музыкальный шлет привет.

Моя худоба по-прежнему не давала покоя родителям. Им казалось, что я плохо развиваюсь. Хотя читать я научился в шесть лет и стишков знал на память целую кучу. В одном из журналов мама прочитала статью о лечении гормонами и решила применить на практике полученную теорию. Случилось это после окончания первого класса. Она сделала мне серию уколов, после которых я действительно начал поправляться, как на дрожжах. Потом выяснилось, что схема лечения предполагала продолжение с постепенным уменьшением дозы лекарства. Это сделано не было. И я стал «жиртрестом» на долгие семь лет. Только в восьмом классе после изнурительных тренировок в секции велоспорта (спасибо тренеру Валентину Иосифовичу Портнову, фронтовику, очень доброму человеку) я похудел до почти приличного вида. Но это все было потом. А пока школа превратилась для меня в подобие ада. Мама, конечно, тоже переживала. Но худым я уже не был, это точно. Незадолго до своего ухода она мне сказала: «Прости меня, сыночек, за те уколы». И заплакала. И я плакал вместе с ней.

Было и прошло. Но не бесследно.  
Память, словно первая любовь, избирательно немилосердна,  
Окунаясь в детство вновь и вновь, падая в случайные мгновенья,  
Где добром отсверкивает зло... Счастьем было просто ощущение,  
Что осталось больше, чем прошло.

Здравствуй, бабушка, это ведь я, твой «Курчатов»,  
Что не стал академиком, как ты мечтал.  
Все случилось не так, как хотел ты когда-то,  
Если б только ты знал, если б ты только знал...  
Буратино с Незнайкой и с Кариком Валя —  
Время добрым казалось, бессмертным слегка.  
Мы читали с тобой, дни за днями листали...  
И судьбу прошивала дорогой строка.  
Что успел — подарить мне любовь между строчек,  
Что хотел — научить не стесняться себя...  
Ты прости, что я был благодарным не очень.  
«Ты прости», — это нынче шепчу я, любя.

Становлюсь на тебя я похожим с годами.  
Интересно, узнаешь меня или нет...  
Преломляется время, парившее с нами,  
И рождает, как в детстве, мерцающий свет.